

1

Родители были женаты уже одиннадцать лет, когда 4 апреля 1922 года родилась я, их первый и единственный ребенок. Поздняя беременность стала для обоих большим сюрпризом.

Херман и Бетти Ялович выросли в районе Берлин-Митте, но в совершенно разных условиях. Мой дед Бернхард Ялович торговал уцененными товарами на Альте-Шёнхаузерштрассе, был пьяницей, колотил жену. Когда он родился, его звали Элияху Меир Сакс. Но, бежав из России, он в 1870 году купил у некой вдовы из Кальбе документы на имя Яловича.

Его сыновьям удалось окончить школу, получить аттестат и поступить в университет. Наряду с изучением юриспруденции мой отец участвовал в сионистском спортивном движении. Считалось, что восточные евреи-переселенцы деградировали по причине скученности в гетто и однообразных занятий вроде торговли вразнос. Этот изъян искореняли в новом еврейско-национальном духе — обилием движения на свежем воздухе. И мой отец одно время работал ответственным редактором межрегиональной газеты “Юдише турнцайтунг”.

В спортивном обществе “Бар-Кохба” участвовала и моя мама Бетти. Ее отец был внуком знаменитого раввина Аки-



Херман и Бетти Ялович, родители Марии. Ок. 1932 г.

вы Эгера и, стало быть, принадлежал к еврейской ученой знати. Такое происхождение позволило ему породниться с очень богатой русско-еврейской семьей Волковыских и вложить огромное приданое жены в создание крупной транспортно-экспедиционной фирмы на Александерплац.

Моя мама, младшая из шестерых детей, родилась в 1885 году. Невысокая, пухленькая, она сразу, как только открывала рот, располагала к себе умом, острословием и неумным темпераментом. Красивым в ней было необычное сочетание черных волос и голубых глаз, а вот короткие толстые ноги красоты ей, понятно, не прибавляли.

Отец, в ту пору привлекательный молодой человек, который нравился многим женщинам, познакомился с Бетти Эгер по телефону. “Я слышал о вас очень много хорошего, — якобы сказал он ей. — И, наверно, при встрече буду только разочарован”. Мама немедленно подхватила иронический тон. Они встретились и полюбили друг друга. Бракосочетание состоялось в 1911 году в доме 44 по Розенталер-штрассе. Огромная квартира Эгеров, моих деда и бабушки, располагалась прямо напротив только что выстроенных “Хакеше хёфе”¹.

В первые годы своей адвокатской деятельности мой отец вместе с коллегами — Максом Циркером и Юлиусом Хайльбрунном — держал товарищескую контору на Александерштрассе. С Циркером он учился еще в школе. После университета тот стал осанистым мужчиной, который, как и второй компаньон, любил бывать в обществе. Отец же тем временем сидел в конторе за письменным столом, выполняя кропотливую юридическую работу.

Мало-помалу Бетти Ялович здорово разозлилась: ее не оставляло ощущение, что Циркер и Хайльбрунн беспардонно

¹ “Хакеше хёфе” (“Хакские дворы”) — памятник гражданской архитектуры начала XX века в районе Берлин-Митте; большой комплекс зданий в стиле модерн. (Прим. перев.)

используют ее мужа. “У нас будет собственная практика. Вот увидишь, все получится”, — снова и снова ободряла она моего отца. Незадолго до начала Первой мировой войны они открыли собственную контору на Пренцлауэр-штрассе, 19а и поселились в том же доме, в нескольких сотнях метров от Александерплац.

Мама с большим увлечением занялась этой практикой. Она всегда сетовала, что ей самой нельзя было получить аттестат и учиться дальше. Когда старшие братья изучали юриспруденцию, она тайком училась вместе с ними. А позднее стала начальницей канцелярии в крупной адвокатской конторе своего брата Лео и не только руководила всем персоналом, но и готовила проекты документов. Нередко они были юридически сформулированы настолько блестяще, что не требовалось менять ни одной буквы, ни одной запятой.

Проявляя огромный интерес к правоведению и философии права, мой отец терпеть не мог будничную адвокатскую рутину, а уж к коммерции был вообще совершенно неспособен. Поэтому иной раз, когда клиент действовал ему на нервы, он уходил, хлопнув дверью. “Пойди *ты* к нему, это же *твоя* практика”, — говорил он в таких случаях моей маме.

С другой стороны, в компании он любил смешить всех курьезными происшествиями из своих профессиональных будней. Например, историей про клиента, который в растрепанных чувствах предъявил ему судебную повестку. “Ох, господин доктор, вы гляньте, гляньте!” — воскликнул он, указывая на дату. Отец понял, в чем дело, только когда клиент пояснил: судебное заседание назначили на Йом-кипур¹. “Господин доктор, это все Пудербойтель!” — причитал клиент. Пудербойтелем звали его противника, и он не сомневался, что этот прохвост решил хорошенько ему насолить и позаботился, чтобы он, осквернив Йом-кипур, явился в суд.

¹ *Йом-кипур* — “день покаяния” (*иврит*), день, предназначенный для поста, отказа от удовольствий и для покаяния в грехах минувшего года. (*Прим. перев.*)

С удовольствием рассказывал отец и о старой еврейке, которая как-то пришла к нему и спросила: “Мужу дозволено бить жену?” Еще не договорив, она уже принялась срывать с себя одежду, чтобы продемонстрировать побои. “Не надо, не надо!” — в ужасе запротестовал он.

Среди его клиентуры был и нееврейский пролетариат, вроде того человека, который, излагая свое дело, все время запинаясь. Отец с трудом понял, что кто-то умер в больнице и ему вырвали там золотые зубы. Очень осторожно и тактично он поинтересовался, над кем же из любимых родичей клиента так надругались. “Почему над любимым родичем?” — с досадой спросил клиент. Он служил носильщиком покойников и хотел подать в суд на больницу имени Вирхова за то, что она доставляет на кладбища ограбленные трупы. Ведь, по его мнению, именно носильщики покойников имели полное право грабить трупы, тем самым повышая свой маленький доход.

Мамины родители умерли еще до моего рождения. Их квартира на Розенталер-штрассе, 44 отошла тетушке Грете. По всем более-менее важным праздникам она устраивала званый ужин для всей родни. Каждый год в огромной столовой происходили и наши незабвенные седеры¹.

На моей памяти главное место за столом занимала старейшина — моя двоюродная бабка Дорис. Неизменно облаченная в серый шелк, она носила на шее бархатку, а выражением лица напоминала мне бульдога. Некогда Дорис Шапиро была очень богата и от революции бежала из России в Берлин. Ее дочь Сильвия Азарх, которую постигла сходная судьба, тоже всегда присутствовала на таких семейных праздниках.

¹ Седер — пасхальный ужин у иудеев. (Прим. перев.)



Семейная встреча в летнем доме. Март 1932 г., Каульдсдорф. В верхнем ряду слева направо: Херберт Эгер, Сильвия Азарх, Миа Эгер, Эдит Левин (рижская племянница), Бетти Ялович, Юлиус Левин; в нижнем ряду: Курт-Лео Эгер, Маргарета (Грета) Эгер, Мария Ялович; на переднем плане: Ханна-Рут Эгер, Херман Ялович.

Детей в семействе было немного — кроме меня, только кузен Курт-Лео и кузина Ханна-Рут. Тем больше мы дорожили дядюшкой Артуром, человеком веселым, любящим детей. Артур состоял из невероятнейших противоречий. Уже чисто внешне он резко выделялся на общем фоне. Эгеры обыкновенно невысокого роста и либо толстяки, либо худые. Артур же был по меньшей мере на голову выше их всех. Волосы у всех неприметные, темные, а у него — огненно-рыжие. И по взглядам он тоже не вписывался ни в какие рамки: коммунист, а в то же время фанатично консервативный иудей. Своими религиозными представлениями и предписаниями он изрядно бесил свою сестру Грету, с которой порой жил под одной крышей.

Артур торговал шуточными товарами. Некоторое время держал магазинчик на Мюнцштрассе, позднее — ларек на рынке, но его предприятия регулярно терпели крах.

По праздникам он вечно трепал родичам нервы: когда после богослужения все давным-давно были на Розенталерштрассе и ждали праздничного ужина, он неизменно являлся последним. Одна из тогдашних семейных поговорок гласила: “Ну вот, опять Артур запирает *шул*¹”. Он всегда встречал возле синагоги знакомых и часами с ними разговаривал.

Но в седер, рассказывая об исходе евреев из Египта, он преисполнялся такой глубокой серьезности, будто сам присутствовал при этом. И всякий раз, когда после трапезы продолжали ритуал, он чуть бледнел и с достоверным испугом провозглашал: “Нельзя продолжать седер, в дом проникли воры, украли *афикоман*”. Имелся в виду особый кусок мацы, который мы, дети, припрятывали. Когда мы его “находили”, нам в награду по обычаю давали сласти.

Задолго до того, как я пошла в школу, Артур решил научить меня еврейскому алфавиту. Так требовал старинный еврейский

¹ *Шул* — “дом почитания” (*идиш*), то есть синагога; термин используется в первую очередь ортодоксальными евреями. (*Прим. перев.*)



Открытка Артура Эгера, участника Первой мировой войны, 1915 г., на фото он слева. Текст: “Как замечательно жилось бы, будь в кармане миллион, а война бы кончилась, но в остальном мы здоровы. Множество приветов, Артур”.

обычай. Мой отец рассказывал, как маленьким ребенком сидел на коленях у своего деда и тот говорил ему: “Мальчик мой, тебе уже три годика. И сперва ты выучишь наш священный алфавит, а уж потом немецкие буквы”.

Способ, каким Артур начал обучение, надо сказать, довел мою маму до белого каления. Первая буква, которую он мне изобразил, была “хэ”. И он сказал: “Видишь, дитя мое, это хэй. Повтори: хэй”.

Я, конечно же, гордо объявила родителям: “Смотрите, это хэй”.

“Откуда ты взяла эту чушь?” — тотчас спросили у меня. Ведь “хэй” вместо “хэ” — произношение устаревшее и грубое, мне так говорить ни под каким видом нельзя.

С тетушкой Гретой Артур постоянно ссорился. Например, оттого, что любил класть в чай много сахара. Тетушка считала это расточительством. В ответ на ее протесты Артур, бросая в чай все новые кусочки сахара, цитировал идиотский рекламный слоган: “Экономить сахар вредно! Организму он полезный!” Он декламировал эти вирши то запинаясь, как маленький ребенок, то как скверный комедиант. А строгая и суровая тетушка Грета твердила: “Довольно! Довольно!” — пока в конце концов ее саму не одолевал смех. К тому времени в чашке Артура исчезало больше десяти кусков сахара.

Когда мне было лет десять, я однажды наблюдала, как он через день-два после *Песаха* сидел за столом, клал на кусочек хлеба мацу и с глупым смешком повторял: “*Хамец и маца*”¹ — квасное и пресное. После восьми дней *Песаха* ни один здра-

1 К особенностям праздника *Песах* относится запрет есть квасное — *хамец* (др.-евр.) — и даже хранить его в доме. В течение восьми дней праздника едят только пресный хлеб, то есть *мацу*. После же *Песаха* никто мацу не ест, хотя это и не запрещено. В Пасхальной Агаде, истории, которую читают в сефер, говорится: “Почему эта ночь совсем не такая, как другие ночи? Во все другие ночи мы можем есть квасное и пресное (*хамец и мацу*), в эту же ночь — только пресное”. (Здесь и далее, если не указано иное, — прим. Хермана Симона.)

вомыслящий человек мацу не ел, а он таким манером развлекался. Вот тогда я поняла, что Артур — актер. Только с ним никогда не поймешь, где кончается шутка и начинается серьезность.

В квартире на Розенталер-штрассе разыгрывались также иные семейные сцены, о которых рассказывали, только прикрыв рот рукой. Одна из таких историй повествовала о моей тетушке Элле, и случилось это, когда я была еще маленькая.

На рубеже веков Элле на несколько месяцев отправили в Болдерау под Ригой, где находилось одно из поместий семейства Волковских. В ту пору она была, надо полагать, хорошенькой веселой барышней на выданье. В Риге она познакомилась с Максом Клячко, и уже вскоре они поженились. Что он невыносимый психопат, нытик, который превратит ее жизнь в ад, она заметила лишь позднее.

Как-то раз Элла и Макс Клячко с дочкой Эдит приехали из Риги погостить в Берлин. Элла наслаждалась знакомой обстановкой детства на Розенталер-штрассе, а ее муж в одиночку пошел осматривать город. В тот вечер — это было в 1926 году — он долго не возвращался. Все уже начали тревожиться, и тут в дверь позвонили. На пороге стоял полицейский, который, как положено, выразил соболезнования: “На меня возложена печальная обязанность сообщить вам, что ваш супруг погиб, переходя мостовую возле церкви Поминовения императора Вильгельма”.

Тут Элла, как говорят, испустила радостный крик, обняла полицейского и пустилась с ним в такой безумный пляс, что он едва устоял на ногах. Чтобы он помалкивал, пришлось щедро ему заплатить — причем он еще и подчеркнул, что взятки не берет. Дядюшка Артур, вечный банкрот, и тот предложил: “Еще добавить? Сумма-то вполне недурственная”.

Несколько дней спустя Элла Клячко уже стала образцовой безутешной вдовой, не только внешне, но и внутренне. Фактически она оказалась в плачевной ситуации: от мужа к ней перешел магазин пишущих машинок в Риге, погрязший в долгах. В итоге у Эллы осталось только несколько пишущих машинок, и она открыла у себя на квартире машинописное и переводческое бюро.

Мама часто рассказывала мне про деликатесы, какие пробовала, когда тоже несколько месяцев гостила в болдерайском поместье. Иногда мы ездили в Шарлоттенбург, в русский гастрономический магазин. Для меня покупка таких вкусностей всегда была праздником. Самый лучший чай продавали в банках с позолотой и странными надписями. “Почему тут *R* смотрит в другую сторону?” — спросила я. Мама объяснила: “Это русская буква *Я*”. Так я познакомилась с русским алфавитом.

Например, мы покупали *клюкву* в сахаре — с этими ягодами, покрытыми толстым слоем сахарной пудры, пили чай. Или *кильки* — шпроты в масле — и жареный горох, слегка подкопченный, очень нежный. Не знаю, вправду ли все было так вкусно или меня восхищала необычность. Мама рассказывала, что в детстве уже в передней чуяла, когда приезжали гости из России. Запах юфти от тяжелых кожаных пальто разносился чуть не по всей лестнице, вдобавок особенные, крепкие французские духи. Для нее эти запахи обещали деликатесы. Рижские родственники и нам привозили особые лакомства, например *калькун* — фаршированную индейку. Мама была в восторге, потому что это напоминало ей детство, да и мне лакомства казались очень вкусными.

Вскоре после моего шестилетия я поступила в начальную школу на Генрих-Роллер-штрассе. 1928 год, время ужасной безработицы. В этом школьном округе проживало очень мно-



Первый день в школе. В апреле 1928 г. Марии Ялович исполнилось шесть лет.

го бедноты. Тем не менее родители не хотели отдавать меня в элитарную частную школу. Мне надлежало познакомиться с социальным окружением и его языком — берлинским диалектом — и найти там свое место. Впрочем, одновременно им хотелось ограничить контакт с этим окружением.

В школу меня много лет каждое утро отводил отец. Ежеутренняя прогулка вдвоем и разговоры весьма укрепили наши тесные узы. После уроков меня забирала Левин, моя бонна. Дома меня тотчас раздевали донага и мыли с головы до ног. Одежду либо бросали в стирку, либо вывешивали проветривать, а меня полностью переодевали. Ведь я приносила с собой якобы типичный затхлый запах народной школы.

Третий класс я перескочила. Родителей еще до 1933-го снесало неотвязное чувство внутренней тревоги: мне надо поскорее окончить школу. Как некогда мама и мои тетушки, из начальной школы я перешла в Софийский лицей. Проведенные там три года не слишком на мне отразились. Больше всего на меня подействовал арест нашей учительницы арифметики, госпожи Дрегер¹. Случилось это, по-видимому, в 1933-м: со своего места я видела, что ей не дали войти к нам в класс. Двое мужчин в штатском стояли у двери. Я заметила, как она побледнела. А немного погодя услышала щелчок наручников. Разумеется, дома я рассказала о происшествии. “Постарайся незаметно расспросить, кто еще это видел”, — сказал папа. Я так и сделала; в результате выяснилось, что, кроме меня, никто из учениц на эту сцену будто бы не обратил внимания.

1 В 1933 г. учительницу *Маргарету Дрегер* принудительно отправили на пенсию, поскольку у нее были еврейские предки. Позднее она работала в разных местах, а в 1942-м ее послали на принудительные работы на завод фирмы “Сименс”; чтобы избежать депортации, она перешла на нелегальное положение, однако в 1944 г. была арестована и депортирована в Освенцим.